

Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена

Женевский университет  
Петербургский институт иудаики  
Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом)  
Хельсинский университет

*при поддержке*

Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева  
Издательства «Вита Нова»

## **ОЗЕРНАЯ ШКОЛА**

Труды пятой  
Международной летней школы  
на Карельском перешейке  
по русской литературе

Поселок Поляны (Уусикирко)  
Ленинградской области

2009

## Тема водопровода в «Записных книжках» Л. Гинзбург и дневниках О. Фрейденберг

Среди обширной литературы о ленинградской блокаде особняком стоят два памятника — «Записки блокадного человека» Л. Я. Гинзбург и дневники О. М. Фрейденберг (блокадные страницы этих дневников частично опубликованы под заголовком «Осада человека» в «Минувшем», № 3). Много объединяет эти тексты: «Записки» самой Гинзбург названы «дневником по типу романа», дневники Н. В. Брагинская назвала «филологическим романом»; оба «романа» писались почти одновременно; их авторы жили в одном городе, принадлежали к одной среде (ленинградскому «филологическому быту»), часто описывали одни и те же явления. Стоит сравнить эти «блокадные» книги «в сильной позиции».

Такой «сильной позицией» является одна из жизненно-важных тем блокадного времени, к которой обращаются оба автора, — тема водопровода. И Гинзбург, и Фрейденберг пишут о водопроводе расширительно — не только в связи с жизнью и смертью, но и в связи с судьбами цивилизации и культуры. Они свидетельствуют о крушении системы городского водоснабжения, но для них это нечто большее — знак крушения цивилизации.

Однако на этом заканчивается сходство позиций; в «сильной позиции» яснее просторазность — прямая противоположность мировоззрений.

### 1.

Фрейденберг вписывает тему водопровода в свой миф.

Истоки мифа Фрейденберг находим в ее ранней переписке с Пастернаком. Здесь все бытовое приподнято, возведено в многозначительность символа (отчасти это игра, но уж во всяком случае игра всерьез). «Знаешь, все эти дни передо мной стояли “международные” вагоны, и сколько в них было значения!» — восклицает Фрейденберг (1910). Так предметы, слова, жесты окрашиваются символизмом: символическими мыслятся «неподчеркнутые движения»), комнаты — «экстатическими», подтяжки — «Элевзинскими», смех — романтическим, отношения — книгой<sup>1</sup>.

Вот что писала Фрейденберг о своей способности во всем видеть знаки чего-то большего: «С самых ранних дней детства <...> у меня было чувство, возникшее у меня вместе с моим сознанием, что все то, что находится во мне и вне меня, не исчерпывается собой, а имеет значение» — с этих слов начинаются ее записки<sup>2</sup>.

Из этого юношеского символизма вырастает миф о пути ученого. В ранние годы Фрейденберг видела в себе прежде всего Возможность, бездну Потенциального: она «не может себя сознать и измерить». Через нее проходит волна вечности: «дух мой — Вечный жид»; «Это было давным-давно <...> За Одессой, за детством, за рождением даже; это предание, дух. Я люблю Шиллера за то, что он *старый*, — я сама старая...» На нее «находит <...> просветление» («словно дух отходит от тела»), она предсказательница, она одержима вдохновением<sup>3</sup>.

В 30-е гг., когда О. Фрейденберг начинает вести свои записки, она очерчивает сюжет своей жизни; основной лейтмотив этого сюжета Голосовкер назвал бы «мифотемой», «кривой смысла»<sup>4</sup>. Детство и юность видятся ученому творческим Молчаньем («я забронирована в молчание»), подготавливающим Слово. Это восприимчивое Молчание — как полнота Возможного; оно впитывает искусство, а искусство дает «единство видимому и невидимому, расширяет ухо и глаз», обобщает, проникает, строит, второй план», который делает «живущую... — творцом живого».

Вот как она описывает свое детство: «совершенно бесформенное и очень долгое» — как будто это был Мир до акта творения. А вот как она описывает свою юность: «... я <...> представляла собой странный тип человека, совершенно ушедшего в мир чистой духовной стихии», была «погружена в себя самое», «мне всегда сопутствовал какой-то внутренний ритм, невысказанный, но властный» — так скрытая Живая сила ждет своего часа, чтобы излиться в Мир. И еще Фрейденберг говорит о «неорганизованности сил, тютчевском «хаосе», «древнем хаосе, родимом» — о Хаосе, из которого должен возникнуть Космос<sup>5</sup>.

Учеба в университете описывается как подготовка к обращению, обретению миссии. Недаром Фрейденберг в юношеской анкете (1908) на вопрос «Будь Вы не вы, кем бы хотели быть?» — ответила: «Аскетом»; а на вопрос: «Где жить?» — ответила: «В пустыне»<sup>6</sup>. Вот и университет поначалу представляется ей «монастырем духа», долгом студента — «как иноку, молиться и служить»<sup>7</sup>.

Центральный эпизод мифа — это эпизод чудесного превращения студентки в ученого. Начало научной карьеры осмыслено как духовный переворот и преображение. Согласно мифу, предшествующие

«обращению» студенческие занятия и доклады — это ступени к храму Науки. «Наука еще не коснулась меня, но я уже была в ощущении своего слияния с мировой мыслью», — таково чувство Фрейденберг перед «обыкновенным семинарским докладом»<sup>8</sup>.

Выбор темы для семинарского чтения становится чудом обретения «мифотемы». В качестве предмета исследования выбирается апокриф «Деяния Феклы» («Апокриф о Фекле сыграл <...> решающую роль в моей жизни»<sup>9</sup>). По описанию Б. Гаспарова, «Деяния Феклы» повествуют о девушке из богатого семейства, которая, услышав проповеди апостола Павла, <...> отказалась от брака, остригла свои длинные волосы и решила посвятить себя проповеди христианства. По жалобе ее жениха и матери, ее бросают в ров с тиграми, однако звери не трогают святую; она выходит на свободу и удаляется вслед за апостолом в пустыню». Б. Гаспаров отмечает удивительные параллели между текстом апокрифа и обстоятельствами биографии Фрейденберг: «Очевидно, что в истории Феклы для Фрейденберг отразилось ее собственное преобразование из “светской” молодой дамы в ученого. Личный подтекст <...> усиливается тем обстоятельством, что свою болезнь, в течение которой она изучала апокриф, Фрейденберг описывает как смертельную: врач говорит о “скоротечной чахотке” и определяет срок ее жизни “примерно в один месяц”; в этой проекции, ее возвращение к жизни (в новом качестве) как бы соответствует чудесному спасению святой. И наконец, картина “гонений”, переживаемых университетом в годы военного коммунизма, <...> делает еще более полной раннехристианскую проекцию этого эпизода ее автобиографии»<sup>10</sup>.

Не случайно судьбоносный эпизод начинается с пробуждения после сна. Озарение первого научного открытия становится мгновенным перерождением для Новой Жизни: «Было воскресенье. Я проснулась и лежала, отдыхая от сна. Первая мысль, по обыкновению, принадлежала Фекле. И вдруг все годы, все муки, все книги взлетели в моем мозгу пламенным вихрем, и одна-единственная мысль отделилась и вышла из моего нутра <...> в неожиданно законченном виде. Эта мысль была греческий роман. И я почувствовала глубочайшее волнение, но еще в большей степени — чувство беспрекословной истинности. В тот же день я сделала доклад Жебелеву»<sup>11</sup>.

Личный подтекст есть не только в обращении к апокрифу, к жизнеописанию мученицы и святой (стоит сравнить высказывание об апокрифах: «Апокрифы заинтересовали меня: ведь это была гонимая церковь, ересь, гонимое творчество»<sup>12</sup> — с высказыванием о первых годах революции: «Страшные дни! Жизнь пуста. Профессора умирили. Жи-

вых арестовывали»<sup>13</sup>). Этот подтекст есть также и в самом научном открытии, в идее связать апокриф с греческим эротическим романом: «Он [апокриф] пленял меня. Еще бы! Деяния начинались с того, как Фекла заворожено внемлет своему учителю, Павлу. Апокриф говорил мне. Я ощущал его любовный, языческий аромат, его художественность. Бороздин, Жебелев, Толстой, Буш. Мои учителя, мой весь маршрут ума и сердца. Все привело меня к Фекле и поставило у ее окна. В то время Фрейденберг была влюблена в своего учителя грецистики И. И. Толстого; подобно тому, как Павел вел за собой Феклу, «Толстой вел за собой в живой новооткрытый мир и я самозабвенно шла за ним»<sup>14</sup>.

*Через апокриф О. Фрейденберг видит не только свои первые шаги в науке, но и всю свою научную биографию.*

Именно в таком духе представляется О. Фрейденберг защита ее диссертации. Профессура, присутствующая на защите, — «далекая, страшная, непонятная»; профессор Малеин «распарывает» ей «кишки»; «идет борьба неравных сил»; Фрейденберг делает «пробный хлебок из чаши с ядом». Спокойствие Фрейденберг во время процедуры — «высшее»; Пастернак восхищается той «неколебимостью», с которой Фрейденберг «держалась на этом позорище». Ее поддерживают Марр и Франк-Каменецкий, и она «выигрывает эту битву в каком-то очень большом и настоящем плане»<sup>15</sup>.

Значит, еще будучи начинающим ученым, О. Фрейденберг уже составила «идею» своей биографии: она готовится к гонениям («Мои враги воспитывают уже новое поколение в ненависти к моей книге»), готова проповедовать свои идеи во враждебном мире, вкладывать в свою жизнь «героическое содержание». «Разве Боря не понимает, что жизнь моя уже стала биографией? — пишет она в 1924 г. жене Пастернака. — Что ее страдания давно перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса...»<sup>16</sup>. «Ах, гордые жреческие отпрыски Абарбанела»; «исключительная порода людей (несовременная)!!»<sup>17</sup> — этот отзыв о Фрейденбергах Л. О. Пастернака свидетельствует, что и он попал в поле фрейденберговского мифа.

О. Фрейденберг настаивает: в ее жизни нет ничего случайного. В ее биографии как «секретном тексте» все — знак («И [брат] Сашка — тоже знак»; «приезд Пастернака в Ленинград — «символ»»<sup>18</sup>). Истинный ученый, подобно святым и героям, повсюду окружен врагами и мучителями («...меня может понять только ученый, которого со студенческой скамьи травят за определенный образ мысли со всех лагерей, который в напряжении последних сил бьется с гидрой быта...»)<sup>19</sup>.

Интересна реакция Пастернака на эту особенность ее мышления. Фрейденберг записывает его слова: «По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени...» — это по поводу «Прокриды» (монографии «Поэтика сюжета и жанра»). Установка на миф требует снятия категории времени. И то же в жизни и тексте-как-жизни: по мнению Пастернака, Фрейденберг строит свою жизнь как замкнутую и завершенную — вне времени («...ты переводишь то, что наполовину в твоей воле, в безраздельное ведение судьбы») <sup>20</sup>.

Высший смысл истории для Фрейденберг — также в преодолении времени. История увековечивает — т. е. помещает человеческую единицу и единичное событие из времени в вечность. Протекание истории, смена времен и лиц — все это лишь подступ к той высоте, где время прекращает свою власть, к «единой истории» <sup>21</sup> как вечности.

На страницах «Записок» и писем разворачивается мифологический сюжет, «пружиной которого служит образ борьбы» <sup>22</sup>. Борьба между «героическим ученым» и «врагами науки» — по сути, это борьба между смыслом и бессмысленностью, истинной и ложной историей, бесмертием и небытием.

«Враг науки» — это, например, некая Лейтейзен, автор статьи, направленной против фрейденберговской «Прокриды». За конкретным врагом стоит враждебная система — само государство, сама история. Но государство — тяжкий морок, фантом времени; порожденная государством «действительность» — ложь; «государственная» история — «тупик бытия» <sup>23</sup>.

Один из эпизодов этого сюжета борьбы связан как раз с Лейтейзен. После ее статьи Фрейденберг отправляет к Пастернаку Франк-Каменецкого — чтобы защититься от гонений и через Пастернака заручиться поддержкой Бухарина. Франк-Каменецкий и Пастернак встречаются на даче последнего — безрезультатно (Бухарин сам находится в опале, в преддверии катастрофы). Франк-Каменецкий возвращается в Ленинград в битком набитом автомобиле, и на коленях у него вдруг оказывается сама автор погромной статьи (Лейтейзен). Эта история, рассказанная Франк-Каменецким, становится в «Записках» Фрейденберг эпизодом мифа: «Он так был утомлен, и жизнь казалась ему таким сумасшедшим домом, что он не имел сил найти в себе какого-то отношения к происходящему. И он мчался в темноте, держа на коленях ту, из-за которой был так утомлен и измучен. Советская действительность представлялась ему фантомом, и он не мог четко различить, из-за чего его качнуло в такую даль и по такой грязи, — уж не для того ли, чтобы посадить к себе на колени веселого товарища Циюлю

Лейтейзен?..»<sup>24</sup> (сам Франк-Каменецкий вскоре нелепо погибнет под колесами автомобиля). Так, чем реальнее становится для Фрейденберг миф о судьбе филолога, тем более призрачной представляется ей окружающая действительность.

Когда реальность — «фантом», ориентироваться стоит только на «реальнейшее». Фрейденберг противопоставляет советской повседневности персонафицированную и мифологизированную «историю науки» — как высшую реальность и вместе с тем суд над реальностью: «Одно, одно владело мной, держало меня, вело по тем ужасным дням: неколебимая вера в историю науки. Я знала, что она есть, что никакими фальсификациями и уничтожением документов нельзя ее обмануть. Я так была уверена в ее правдивом и нелицеприятном существовании, словно видела ее воочию. Все могли сделать всемогущие люди: убить, исказить, извратить, — но, в сущности, ни убить ее не могли, ни уничтожить, ни изменить масштабов. Они строили карточные домики, не выдерживавшие времени. Воздействовать на историю они не имели средств, как ни были всемогущи». Вера в «историю науки» подобна вере христианских мучеников: «Этим сознанием и живым чувством я жила, дышала и держалась. Даже более того: была им воодушевлена, была поднята высоко над фактами гоненья»<sup>25</sup>.

## 2.

Совершив экскурс в автобиографический миф Фрейденберг, вернемся к теме блокадного Ленинграда и водопровода. Итак, по мифу, Фрейденберг — *одиноким ученым, преследуемым обществом и хранящим «в катакомбах» светоч культуры; он подобен первым христианам*. Ученый, как в древние времена мученики и святые, противопоставлен могущественному Риму — в его новом обличье. О. Фрейденберг отрицает не только Советскую власть, но все обличья Рима, любые государственные системы. Ее ответ на проявления государственной мощи — отказ, анархический протест: «Я ненавижу государство, власть, политику»<sup>26</sup>.

Так Фрейденберг доводит до предела традиционное противопоставление культуры и цивилизации: «Эти громкие слова: “государство”, “массы”, “свобода” — жалкая бутафория. Есть только культура»<sup>27</sup>. Цивилизация — тупик. Жители блокадного Ленинграда оказались в этом тупике, завалены обломками рушащейся цивилизации. Какая книга актуальна для Фрейденберг в ситуации «светопредставления», конца цивилизации? Записки анархиста Кропоткина («С наслаждением я перечитывала Кропоткина, его умные и тонкие запис-

ки. Если б он видел наши дни! То было доведенное до крайности, бедственное для людей, самовластие так называемого государства. Тщеславие, деспотизм, преследование, мучительство, смерть, угрозы голодом, кровью, вытачиванием средств, сил и денег»<sup>28</sup>).

Как тема водопровода связана с мифом Фрейденберг, с ее взглядами на цивилизацию и культуру? Блокадные записки Фрейденберг разворачивают тему агонии культуры как агонии города: город — мучимое тело («гангрена пространства», «кровь стыла в жилах города»<sup>29</sup>), водопровод — пыточный инструмент.

В «Записках» Фрейденберг водопровод метафорически и метонимически связан с адом. Ад здесь преследует человека, он повсюду — и сверху, и снизу; низ — подземная прачечная, где приходится брать воду, — это «преисподняя», верх — небо, угрожающее бомбами: «Бил грохот за грохотом, свист выл за свистом, и великаны бросали с невиданной высоты груды адских досок, которыми уложена преисподняя»<sup>30</sup>.

Если блокадный Ленинград — это реализовавшийся ад, то водопроводная система в агонизирующем городе — тоже адская. Эти темы связаны прежде всего метонимически — через тему дерьма. Ад — это предельное искажение нормы, это норма, вывернутая наизнанку. Назначение нормального водопровода — доставка воды и тепла, выведение нечистот. Адский водопровод все устраивает наоборот — вместо воды и тепла он вбрасывает в блокадный быт нечистоты: «Коммунальная квартира заливала нас сверху нечистотами»; «Открываю, с замиранием сердца, ванную и вижу: ванна до самых краев полна черной вонючей жидкости, заткнутой сверху ледяным салом»<sup>31</sup>.

Тема дерьма усилена гиперболой: если в «Медном всаднике» «маленькому человеку» угрожает природная стихия, в «Записках» — стихия дерьма, затопившего город: «Замерзли трубы, остановилась вода, прекратился отлив и канализация. Выбыли из строя уборные... Резкий удушливый запах публичной уборной шел с лестницы и обратно на лестницу. Двор, пол, улица, снег, площадь — все было залито желтой вонючей жижей»<sup>32</sup>.

Смрад и нечистоты — это, как известно, неперемненные признаки ада и атрибуты дьявола. Дьявол для Фрейденберг — это, конечно, Сталин. Сталин воплощает предельную несвободу, тотальное отрицание личности. Он стремится к дьявольской вездесущности: «Это был Сталин туда и Сталин сюда, Сталин тут и Сталин там... Он хотел поклонения, преклонения, культа, всех земель, всех виселиц на свете». Но столь же вездесущ, согласно блокадной мифологии Фрейденберг, и дерьмо. Сталин-дьявол и стихия дерьма теснят человека со



всех сторон, снаружи и изнутри. Сталин «фарширует» собой людей, лезет за ними следом, когда они садятся на горшок, забывает собой все дыры и отверстия. С такой же неотвратимостью на человека и страну отовсюду напирает дерьмо: «Страна едва шлепалась по морю крови и нечистот»<sup>33</sup>.

Получается, что водопровод как проводник дерьма, как дьявольская, адская система возвращает человека от культуры к хаосу — к «советской Тиамат — первозданному хаосу и стихии»<sup>34</sup>.

Автоконцепция Фрейденберг такова: она пишет свои записки в аду, письма — из преисподней<sup>35</sup>. «Посылаю тебе открытку с оказией, — пишет она Пастернаку. — Мне трудно тебе писать. Можешь себе представить, чтобы Данте (пока Вергилий завтракает) присел черкнуть письмецо?»<sup>36</sup>.

Но культура, держащая оборону в душах одиноких, погибающих людей — жива. Загнанная в бессильное, едва дышащее тело, душа (и культура) восстает, как Феникс из пепла. И душа-культура, культура-душа — это и есть единственная реальность, а цивилизация — мираж: «...мне была страшна не соматическая гибель; казалось, душа изменится. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимется опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдо-реальность, и мираж как раз она, и она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос».

На месте бывлой цивилизации, которая казалась столь прочной, столь всемогущей — хаос. И, может быть, это творческий, порождающий Хаос, чреватый обновленной культурой: «Хаос: недаром все народы начинали с него, а не с черта, борьбу света. По-видимому, мы приступает к зачатию. Ты увидишь, мы родимся, — посмотри, сколько его, как он распространяется. Только бы сохранить душу»<sup>37</sup>.

По замыслу черта, Ленинград должен был превратиться в ад, а Ленинград преодолел, осилил ад и вышел из преисподней — очищенным, святым. И вновь в «записках» Фрейденберг приглушенно звучит тема первых христиан — когда речь идет о погубленном и спасенном городе: «Наш город чист, как никогда ни один в истории. Он абсолютного свят»<sup>38</sup>.

Усилие духа преображает ужасы блокадного Ленинграда. На исходе блокадных мучений преображена даже тема нечистот. Фрейденберг ухаживает за смертельно-больной матерью — с присущим ей героизмом («это героика вытаскивания из-под страшной гольбейновской косы»). Идея служения, ставшая страстью, снимает противоречие

между высоким и низким, духом и физиологией. Когда «жизнь обрачивается, как медаль, основным значением», все — высокое, все — дух: «Сначала руки опускались у меня перед ее бассейнами в постели. Теперь и это нашло свою встречу в своеобразной технике и создавшемся прецеденте. Меня ласкают ее запахи тем больше, чем они матерьяльней, и все то теплое, физиологическое, что телесно из нее излучается и дает себя прощупать, подобно самой природе или доказательству»<sup>39</sup>.

Победа биографии и истории (прижизненной вечности) над небытием (смертью-в-жизни) — таков итог напряженного противоборства, разворачивающегося на страницах «Записок» и писем. Фрейденберг-победительница уподобляет себя святому Георгию, поборовшему змея (о научном докладе в ноябре 1946 г.: «Мне казалось, это не я, а Георгий держит голову дракона»<sup>40</sup>).

Эта победа подтверждается знаменательными сюжетными «рифмами», замыкающими «мифотемы» ранних записок. В десятилетие Фрейденберг писала: «дух мой — Вечный жид»; т. е. — не принадлежит текущему времени, живет в веках. В поздних записках — вопреки всему вновь появляется формула «вечный жид»: «...я пишу книгу за книгой. Как вечный жид, я вечный фармацевт с экстрактами»<sup>41</sup>. Писать, несмотря на то, что не печатают, — таков рецепт «вечного жида», рецепт прижизненного бессмертия.

Другая «рифма» связана с именем протопопа Аввакума. Вспоминая (в начале своих «Записок») студенческие годы, Фрейденберг особо выделяла профессора Бороздина: «Лекции он читал содержательно. Был он ересологом, изучал богомилство, писал о попе Аввакуме, а ведь тема всегда прилипает к исследователю... В первый раз я слышала то, чего не знала»<sup>42</sup>. Прошло двадцать пять лет со времени тех лекций и более десяти с момента записи этих воспоминаний — и вот вновь возник образ великого раскольника, уже в сравнении с самой Фрейденберг: «Меня зовут попом Аввакумом»<sup>43</sup>. По тону письма к Пастернаку ясно, что не только кто-то «зовет» ее попом Аввакумом, но и что она сама готова себя с ним отождествить. Претерпеть немислимые муки и все же победить время, обессмертить себя в слове, дошедшем из-под спуда, — вот что дорого ленинградскому филологу в Аввакуме.

Интересно, что поздние записки Фрейденберг находятся в удивительном родстве с «мифом жизни» Голосовкера. Совпадают ключевые слова: за таким словом Фрейденберг («имажинарный») узнается любимое слово Голосовкера — «иммагинативный». Эпитет «имажинарный» обладает столь же магическим («целительным»<sup>44</sup>) действием, что

и волшебное слово Голосовкера. Одним этим словом Фрейденберг преображает страшный блокадный опыт: «И вдруг эти записки [блокадные записки] принесли мне чарующее наслаждение. Я попала в имагинарный мир, от которого пахло теми днями, ушедшими навсегда, похороненными»<sup>45</sup>. Итог блокадных дневников Фрейденберг — преодоление страшного опыта через записывание: *путь от истории как адского морока к истории как вечности лежит через записанное слово.*

### 3.

О. Фрейденберг воспринимает блокаду через миф; Л. Гинзбург и в блокаду не отступает от основного метода своего мышления и письма — социологического и психологического анализа.

В 30-е гг. Л. Гинзбург ведет *хронику катастрофы* в масштабе «большого времени» — хронику, описывающую крушения собственной научной карьеры, надежд и чаяний своего поколения, падения науки, заката русской интеллигенции. Интонация «Записных книжек» с каждой записью становится сначала все тревожнее, затем — все безнадежнее. При этом автор «Записных книжек» при любых обстоятельствах сохраняет сухой, аналитический тон; освещает происходящее не только с точки зрения непосредственного участника и свидетеля, но и с точки зрения историка, исследователя. Л. Гинзбург во всех испытаниях остается аналитиком, осмысляющим катастрофические события «без гнева и пристрастия».

Подводя неутешительные итоги 1929–1930 годам, Л. Гинзбург пишет: «Я служу, я в ссоре с людьми, вскормившими меня своими идеями; меня уже называли печатно идеалистом, меня уже твердо и вежливо не печатают — словом, я обзавелась всеми признаками профессионального литератора. Эта зима уничтожила стеклянный колпак Института [Государственного института истории искусств], под которым нам казалось, что мы «тоже люди», потому что нас слушало сто человек студентов и 5–10 из них — с пользой. Из-под колпака нас вынесло если не на свежий, то на очень холодный воздух». Однако автор «Записных книжек» не впадает в панику: «Легкий поворот вещи превращает беду в неприятность» (запись 1930 г.)<sup>46</sup>.

Но беды нарастают, их все труднее «превращать в неприятности». Записки становятся все отчаяннее: «Тяжесть бесплодной творческой воли. Черная тень от нерожденных вещей» (запись 1931 г.)<sup>47</sup>. Л. Гинзбург фиксирует не столько внешние события (разгром РАППа, проработки начала 30-х гг.), сколько свои внутренние реакции на происходящее, а через

это — реакцию многих: людей своего поколения, филологов, интеллигентов. С трезвой безнадежностью автор описывает симптомы неизлечимой болезни общества («Я не имею никаких иллюзий»), признаки «непоправимого перерождения» собственной судьбы: «Я поняла, что то, о чем избегали думать вплотную, случилось, что за полтора-два года многие из нас и я тоже потеряли специальность. В пору, когда расшатались понятия потери положения и имущества, нам осталось терять специальность и терять человека» (запись 1931 г.)<sup>48</sup>.

В дальнейшем хроника катастрофы разворачивается в двух параллельных планах. С одной стороны, это дневник болезни; автором «Записных книжек» скрупулезно отмечается убывание смысла в собственной жизни, исчисляется мера собственного падения: «Можно халтурить попутно, но жить халтурно нестерпимо»; книга на заказ — «страшный, непоправимо опустошающий разврат для писателя, то есть человека, который пишет, потому что не умеет иначе относиться к действительности»; «Сейчас литератору невозможно жить здоровой практической жизнью. Можно опуститься. Опускаться соблазнительно и легко. Как заснуть после долгого и трудного дня»<sup>49</sup>.

С другой стороны, это панорама абсурдной действительности, искаженной речевой среды. Л. Гинзбург только записываются высказывания и анекдоты, почти не комментируя их, — но сам отбор фраз и случаев создает жуткую картину общественного безумия, тупика истории, напоминая о Кафке и предвосхищая Оруэлла. Этот абсурдный мир имеет свою инверсированную логику, свой «смысл наоборот»: трусость — это мужество («Надо иметь мужество признаваться в собственных ошибках»; « — Я перестаю понимать, чем, собственно, мужество отличается от трусости»), лучшая самозащита — это самообвинение (фраза кающегося при «небывалом взаимо- и самосожжении ученых»: «Всякая чистка и проверка ценна для меня тем, что она нейтрализует то объективное зло, которое я представляю»), условие членства в Союзе советских писателей — отказ от писательства («По-моему, — сказал Садофьев, — при условии, что он [Иванов-Разумник] откажется от литературной деятельности» — записи 1932 г.)<sup>50</sup>.

В конце 30-х гг. Л. Гинзбург подводит итог: катастрофа свершилась. Абсурд стал нормой: «Тюремный счет времени. Какое счастье, что прошел еще день заточения. То есть какое счастье, что уменьшилась порция — чего? Драгоценнейшего, что есть — жизни». Л. Гинзбург реализует стершуюся метафору: «Есть страшное расхожее выражение — убить время»<sup>51</sup>. Эта метафора, понятая предельно широко, и становится итогом 30-х — эпохи «убитого времени».

Все прежние связи разорваны, прежняя система распалась — в новой абсурдной системе нет места еще не сдавшемуся человеку. Писатель оказывается в предельной, экзистенциальной ситуации — на грани потери смысла, на грани небытия, *один на один с «Записными книжками»*. Чтобы выжить — как филологу, как писателю — она должна была не только вести записки, но и осмыслять записанное.

*Логика жанра, разрабатываемого Гинзбург, требует перехода от «личных» наблюдений к «обобщенно-личному» исследованию мира и человека.*

Автобиографический герой с 30-х гг. становится обобщеннее, горизонт его — шире. «Безличный» герой («я» = «мы» = «он») был намечен еще в 20-е гг.: «В человеке и в судьбе человека подлежит анализу не неповторимо личное, потому что оно есть последний и нашими способами неразложимый предел психического механизма; и не типическое, потому что типизация подавляет материал, но в первую очередь — все психофизически и исторически закономерное. Фатум человека, как точка пересечения всеобщих тенденций» (запись 1928 г.)<sup>52</sup>.

Этот фрагмент читается как программа на будущее, как определенные задачи: исследовать понятие судьбы — на примере собственной судьбы как «точки пересечения всеобщих тенденций».

Эта программа была в полной мере осуществлена Л. Гинзбург. Характерно, что в самые страшные периоды жизни и «Записных книжек» повествование-размышление ведется от третьего лица. Так, герой «Записок блокадного человека» — обобщенный ленинградец «Эн». Вот как характеризует его Б. Гаспаров: «С одной стороны, близость его личности и опыта автора несомненна; но с другой — он нарочито обезличен, лишен таких необходимых человеческих примет, как имя, конкретные житейские обстоятельства, даже пол (к «Эн» отнесено местоимение «он», но его мужской род так же абстрактен, как мужской род слова «читатель» или «человек»). В повествовании «Эн» выступает и как наблюдатель и рассуждающий субъект, и как объект авторского анализа»<sup>53</sup>.

В 20-е гг. Л. Гинзбург наметила для себя «путь записной книжки»: «Что касается дневников, записных книжек, то автор их принужден идти по пятам за собственной жизнью, которая не обязалась быть поучительной». Зачем же «идти по пятам за собственной жизнью»? Только ради того, чтобы запечатлеть «собственную жизнь»? Нет, установка на «личное» для Л. Гинзбург явно недостаточна: «Оттенок чужачества и путаницы в человеческом материале литературе не удовлетворяет меня. Главное для писателя — отразить пафос закономерной челове-

ческой судьбы». Значит, задача автора «Записных книжек» — проследить, как через «личную судьбу» проходит ток истории: «Не будучи исторической личностью, можно быть историческим человеком. Не бегая вперегонки с историей, можно ощущать давление времени в своей крови» (запись 1928 г.); «Историчным, социально продиктованным является и самое интимное сознание человека» (запись 1930 г.)<sup>54</sup>.

Задуманное удалось; в творчестве Л. Гинзбург сбывается формула Тынянова: «Меня делает история»<sup>55</sup>. Уже в 1931 г. Л. Гинзбург написала: «Я смею думать, что не копаюсь в глубинах, как таковых, и вообще не занимаюсь собой. Я ощущаю себя как кусок вырванной с мясом социальной действительности, которую удалось приблизить к глазам, как участок действительности, особенно удобный для наблюдения»<sup>56</sup>. Удивительный ход: «я» — это наблюдательный пункт и лаборатория, не цель, но средство — средство для исследования исторической действительности. Так в «Записных книжках» становится возможным двойной взгляд на историю — «извне» и «изнутри».

Автор «Записных книжек» реализовала формулу Тынянова: она показала, *как* история делает ее судьбу, *как* история делает судьбы ее современников. Она с удивительной точностью и полнотой проанализировала механизмы истории — именно потому что ощущала «давление времени в своей крови».

Такова диалектика героя «Записных книжек»: *он должен углубиться в себя, чтобы преодолеть себя* («Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя — сердцевина этического акта). Человек в себе самом ищет то, что выше себя. Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта — любовь, сострадание, творчество, — в своей имманентности, однако, не утоляющие жажду последних социальных обоснований» — запись 60-х гг.<sup>57</sup>).

Цель Л. Гинзбург — осмыслить и определить самые важные понятия человеческой культуры, человеческого бытия.

Разговор о «самом важном» стал результатом драматичной, длившейся много лет борьбы. То, что в самом начале казалось легким, оказалось более чем трудным: «Какой долгий, изматывающий опыт нужен иногда, чтобы выжать потом из него несколько строк»<sup>58</sup>. Записи 30-х гг. свидетельствуют о кризисе замысла «Записных книжек». В 1931 г. Л. Гинзбург признается: «Вчера со страху мне даже показалось, что мне вообще не хочется читать и никогда уже не захочется. Конечно, это безумная aberrация переутомленного мозга. Глядя в темноту, я думала, что как лучше написать об этом. Инстинкт осмысления и реализации в слове этой ночью удержал меня от отчаяния. Так

человек утилизирует обиды, горе и даже пустоту, обращая их в материал. В тот час, когда и это перестанет быть интересным, — я погибну...»<sup>59</sup>.

Из этого кризиса Л. Гинзбург вышла с сознанием жизненной важности записывания — для себя самой. С каждым годом становится все яснее: «Записные книжки» есть плод не искусства, а судьбы; их значение — экзистенциальное; они остаются едва ли не единственной опорой, единственным средством спасения в ситуации нереализованности, немоты.

В течение десятилетий записи Л. Гинзбург — это «творчество про себя». Если не «Записные книжки», то творческая смерть — вот дилемма, стоящая перед писателем-филологом. И вот Л. Гинзбург вырабатывает стоическую программу на многие годы вперед: «Ликвидировать суету. Жестоко воспитывать себя для медленной, молчаливой работы. Работы без сроков сдачи рукописи в печать»<sup>60</sup>.

Ценность письма проверяется экстремальными обстоятельствами; из них и «рождается жанр» «Записных книжек»<sup>61</sup>. Когда эпоха не оставляет другой возможности, как только писать на песке, — тогда письмо становится спасительным инстинктом, помогает выжить:

« — Я не могу не писать, — сказала я Грише, — когда я не пишу, я не думаю... Если бы я попала на необитаемый остров, я, вероятно, стала бы писать на песке.

— Вы и так пишете на песке, — сказал Гриша»;

«Должно быть, я вижу их [самые жестокие для себя вещи] потому, что могу о них написать и что тем самым они для меня не смертельны»<sup>62</sup>.

Помимо спасительного творческого инстинкта, Л. Гинзбург движет ответственность. Во многом ее дело подобно миссии ахматовского «Реквиема», преодолевающего изначальное противоречие: традиция, о крушении которой свидетельствует «Реквием», в «Реквиеме» же и восстанавливается. Но совершается это у Ахматовой чудом, «последним», невероятным усилием. «Невозможное» слово становится возможным, потому что поэт не имеет права молчать; «память» побеждает «безумие», потому что поэт не имеет права забывать. Вот и Л. Гинзбург не только не может, но и не чувствует за собой права молчать: «Настоящее слово в искусстве — если оно еще возможно, — вероятно, могли бы сказать только мы. И не потому, что мы видели самое страшное, — там тоже многое видели. Но потому, что только мы на собственной коже испытали год за годом уход XIX в. Конец его великих иллюзий, его блистательных предрассудков, его высокомерия... всех пиршеств его индивидуализма». Так Л. Гинзбург подытожила свои

размышления о стихах Мандельштама. Позже, вновь процитировав Мандельштама:

Я лишился и чаши на пире отцов,  
И веселья, и чести своей...

Л. Гинзбург судит себя и свое поколение решающим судом вопроса о смысле и бессмысленности. И обвиняя себя и свое поколение во многом, решает — есть смысл: «Сам лишился, а до людей донес. Вот и выполнил свою функцию»<sup>63</sup>.

На все жизненные и исторически катастрофы она отвечает «аналитической моделью катастрофического опыта чувств»<sup>64</sup>.

Говоря о Хлебникове, Тынянов дал замечательную формулу превращения «промежуточного» жанра: «*продолженные вдаль записки*»<sup>65</sup>. Этой формулой можно было бы обозначить изначальную тенденцию, замысел Л. Гинзбург. Уже в начале пути она обозначает свой замысел словом «роман»: «...я про себя называю романом ту большую вещь, которую в конечном счете я хочу написать и на которую должны пойти мои лучшие силы»<sup>66</sup>.

В 30-е гг. Л. Гинзбург говорит о романе уже как о реализуемом проекте, проекте-в-действии: «Если бы, — не выдумывая и не вспоминая, — фиксировать протекание жизни... чувство протекания, чувство настоящего, подлинность множественных и нерасторжимых элементов бытия. В переводе на специальную терминологию получается опять не то: роман по типу дневника или, что мне все-таки больше нравится, — дневник по типу романа»<sup>67</sup>.

Подводя итоги «Записным книжкам», уже в конце пути, Л. Гинзбург находит наиболее точную (и уже не специальную) формулу своего жанра: «Романы бесполезно читать, потому что этот вид условности перестал работать... Пруста можно читать, потому что это преодоление романа. И не нутром, как пытались это сделать авангардисты, а интеллектом. Вместо всегда условного словесного изображения жизни — высшая реальность размышления о жизни»<sup>68</sup>. Здесь автор «Записных книжек» уже не подыскивает для своего жанра терминологическую метафору — не переносит старое слово «роман» на новую, неназванную форму. Она заявляет прямо: требуется не роман, но то, что заменит его — *форма, которая станет на место романа*. Так подправляется прежняя формула: *не «дневник по типу романа», а дневник вместо романа*.

Вопрос о новой «большой форме» не решается подновлением романной условности. Решение должно быть гораздо радикальнее: «новая форма равняется роман минус условность». Отрицается условность как таковая. От новой формы требуется не жизнеподобие, не



подражание реальности — она должна стать становящейся на глазах читателя жизнью слова и мысли, должна стать «высшей реальностью размышления о жизни». Такое размышление не нуждается больше в приеме и условной мотивировке.

А. Кушнер назвал жанр, созданный Л. Гинзбург «новым романом» — настоящим «новым романом», в отличие от французского экспериментального романа второй половины XX в. Кушнер противопоставляет форму «Записных книжек» «эпическим потугам» современных романистов: «Л. Гинзбург создала всей разножанровой совокупностью своего труда уникальное, хочется сказать по привычке — эпическое полотно, но как раз с эпическими потугами наших авторов многотомных романов сделанное ей не имеет». Для прояснения своих рассуждений о «новом», «интеллектуальном» романе Л. Гинзбург, «возникшем в стороне от протоптанной дороги, там, где ее меньше всего ожидали найти современники», Кушнер приводит слова самой Л. Гинзбург о Прусте: «Пруст понимал роман как разговор писателя о жизни. Жизнь писателю дана одна, и нет поэтому смысла писать разные романы. В течение отпущенного ему времени романист должен создать единственный свой роман, — поэтому очень длинный...»<sup>69</sup>.

Л. Гинзбург создает роман длиной в жизнь, опираясь на Пруста и стоящую за ним великую традицию «разговора о жизни» — от Паскаля, Ларошфуко и Сен-Симона до братьев Гонкуров как авторов «Дневников». Книга Л. Гинзбург есть образ жизни — «вербальный способ переживания мира, самого своего существования» (А. Чудаков)<sup>70</sup>. В отличие от романа типа «Жизнь и судьба», «Записные книжки» — это «роман-жизнь», «роман-судьба»: *написанное и прожитое неразделимы; жизнь есть письмо.*

#### 4.

Этот экскурс был необходим, чтобы понять, почему, в отличие от Фрейденберг, Гинзбург описывает блокаду «без гнева и пристрастия». Таково требование выработанного Л. Гинзбург жанра.

В «Записках блокадного человека», как и у Фрейденберг, возникает тема ада, но опосредованно — через цитатное сознание интеллигента: «Наиболее интеллигентные вспоминают при этом Данте, тот круг Дантова ада, где царствует холод». На той же странице «Записок», где сказано об аде, говорится о водопроводе. Это не случайно. Ад для интеллигента, сознание которого исследует Гинзбург, — это, в частности, то место, где нет водопровода.

Гинзбург ни в коем случае не противопоставляет культуру и цивилизацию. Более того: «адские» муки блокадного Ленинграда заставляют ее — по контрасту — задуматься о чуде цивилизации: «Водопровод — человеческая мысль, связь вещей, победившая хаос, священная организация, централизация. К человеку повернуто дружеское лицо двуликого мира»<sup>71</sup>. Для Гинзбург водопровод — не просто удобная вещь, а ценность — не меньшая ценность, чем, например, свобода личности; исследователь говорит о материальных и культурных ценностях через запятую: водопровод — такое же достижение цивилизации, как, например, свобода личности.

Гинзбург прекрасно отдает себе отчет в том, насколько сильны разрушительные тенденции в XX в.; под угрозой все достижения цивилизации — от водопровода до прав и свобод. Тем более необходимо осмыслить смыслы, функции, связи всех этих разнородных «разрушаемых» ценностей

Действительно, цивилизация не так прочна, как казалось в XIX в. Красота, добро — все это легко разрушить. Вот что Гинзбург пишет о красоте: «Красота, радость жизни, творческая сила — это то *разрушаемое*, против чего работает небытие и оскудение, унижение и боль»<sup>72</sup>. А вот что о добре: «...добро требует сложной системы возбудителей, тогда как злу — в том числе жестокости — надо дать только естественный ход. Аффекты любви, сострадания — такая же психологическая действительность, как жестокость и злоба. Но аффекты мимолетны и непрочны, если они не воспитаны социальными средствами. Они требуют социальной культуры — давления среды, разветвленной системы норм, ценностей, идеалов»<sup>73</sup>. Также непрочен и водопровод, и система материальных благ. Но зато XX в. позволил ощутить как чудо не только красоту и добро, но и водопровод.

Осмыслить, проанализировать, «развинтить» — не с тем, чтобы «развенчать» (по Барту), а с тем, чтобы отстоять — такова позиция Гинзбург по отношению к благам цивилизации — как материальным, так и духовным. Защита цивилизации, «апология истории» — вот к чему сводится «формалистический идеал аналитической трезвости», исповедуемый Гинзбург, вот тот центр, к которому сводятся все ее мысли.

Таким образом, и крушение водопровода — повод для Гинзбург посмотреть на дары цивилизации с новой точки зрения, повод проанализировать «катастрофический опыт чувств». И выявить в человеке постоянную «роевую» волю к преодолению катастрофы (адской жизни), к восстановлению цивилизации, к восстановлению водопровода. И увидеть в этом великое чудо.

Чудо то, что механизмы культуры и цивилизации продолжают работать — несмотря ни на что. Чудо то, что восстановится водопровод. Что постоянно восстанавливается сложный механизм социума, механизм быта. Механизм бытового сознания в чем-то подобен системе водопровода. Кажется, что, поскольку и то, и другое работает с мусором и грязью, значит, об этом не следует рассуждать, а этим следует только пользоваться. Но ведь человек ежедневно спасается благодаря системе отводов, бытовому механизму защиты от угрожающего мира. Так было и в блокаду: «Немцы стреляют по городу. Пространство, отделяющее немцев от Ленинграда, измеряется десятками километров — только всего. А механизм разговора работает, перемалывает все, что придется — мусор зависти и тщеславия, и темы жизни и смерти, войны, голода, мужества и страха, и горькие дары блокадного быта»<sup>74</sup>.

В книге Л. Гинзбург *все жизненные явления, все события бытия могут быть подвергнуты анализу — в том числе самое страшное, в том числе и невыносимый быт — на грани жизни и смерти*.

Чудо социальной жизни — вот предмет анализа, предмет пристального исследования в «Записках блокадного человека». И в этом анализе все важно, все имеет экзистенциальное значение — все, от водопровода до высокого искусства.

Аналитическое письмо — средство против жизненных бед и бессмысленности: «Неудача претворяется в слово»; «Разум твердит о том, что писать уже не имеет смысла, а синхронно решает задачу — как бы получше написать о том, что писать не имеет смысла»<sup>75</sup>.

Итак, разными путями О. Фрейденберг и Л. Гинзбург приходят к одному — преодолению ужаса бытия и бессмысленности через записывание — дневник как разворачивание жизненного мифа (Фрейденберг), записные книжки как разворачивание романа-судьбы (Гинзбург).

## Примечания

- <sup>1</sup> Пастернак Б. Пожизненная привязанность. Переписка с О. М. Фрейденберг. М., 2000. С. 43, 46, 48, 50.
- <sup>2</sup> Брагинская Н. В. Филологический роман: предварение к запискам Ольги Фрейденберг // Человек. 1991. Вып. 3. С. 134.
- <sup>3</sup> Там же. С. 41, 42, 44.
- <sup>4</sup> О «кривой смысла» см.: Голосовкер Я. Э. Засекреченный секрет. Томск, 1998. С. 17; Он же. Логика мифа. М., 1987. С. 47–64.
- <sup>5</sup> Брагинская Н. В. Филологический роман. С. 134, 139, 135.
- <sup>6</sup> Пастернак Б. Пожизненная привязанность. С. 20.

- <sup>7</sup> *Фрейденберг О. М.* Университетские годы / Человек. 1991. № 3. С. 145.
- <sup>8</sup> Там же. С. 147.
- <sup>9</sup> *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 86.
- <sup>10</sup> *Гаспаров Б.* Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении (Б. Л. Пастернак и О. М. Фрейденберг) / Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 367–368.
- <sup>11</sup> *Фрейденберг О. М.* Университетские годы. С. 139–140.
- <sup>12</sup> Там же. С. 149.
- <sup>13</sup> Цит. по: *Гаспаров Б.* Поэтика Пастернака в культурно-историческом измерении. С. 368.
- <sup>14</sup> *Фрейденберг О. М.* Университетские годы. С. 142, 151.
- <sup>15</sup> *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 107, 109, 110, 133.
- <sup>16</sup> Там же. С. 116, 111.
- <sup>17</sup> Там же. С. 122.
- <sup>18</sup> Там же. С. 133.
- <sup>19</sup> Там же. С. 159.
- <sup>20</sup> Там же. С. 149.
- <sup>21</sup> Выражение Л. Пумпянского.
- <sup>22</sup> Эта фраза Фрейденберг относится к «Илиаде»: «Это мышление [мифологическое] прибегает только к уподоблению, пружиной которого служит образ борьбы» (*Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 292).
- <sup>23</sup> Выражение К. Льюиса.
- <sup>24</sup> *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 201.
- <sup>25</sup> Там же. С. 204.
- <sup>26</sup> *Брагинская Н. В.* Филологический роман. С. 138.
- <sup>27</sup> *Фрейденберг О. М.* Осада человека / Минувшее. Исторический альманах. Вып. 3. М., 1991. С. 30.
- <sup>28</sup> Там же. С. 31.
- <sup>29</sup> Там же. С. 30.
- <sup>30</sup> Там же. С. 41,
- <sup>31</sup> Там же. С. 24, 36.
- <sup>32</sup> Там же. С. 141.
- <sup>33</sup> *Фрейденберг О. М.* Осада человека. С. 43, 39.
- <sup>34</sup> Там же. С. 36.
- <sup>35</sup> Так, Фрейденберг прямо называет важного чиновника — Плутонем («Рифтин очутился в роли Плутона — плутом он был уже давно» — Фрейденберг О. М. Осада человека. С. 22).
- <sup>36</sup> *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 250.
- <sup>37</sup> Там же. С. 256.
- <sup>38</sup> Там же. С. 256 (ср. с описанием революционного Петербурга: «Петербург стал совершенно легендарен, со своими бледными ночами и застывшими улицами». — *Брагинская Н. В.* Филологический роман. С. 136).
- <sup>39</sup> Там же. С. 267.
- <sup>40</sup> Там же. С. 292.

- 41 Там же. С. 294.
- 42 *Фрейденберг О.* Университетские годы. С. 149.
- 43 *Пастернак Б.* Пожизненная привязанность. С. 290.
- 44 См. письмо к Пастернаку: «Спасибо тебе... за целительную имагинарность твоей ласки» (Там же. С. 337).
- 45 *Фрейденберг О. М.* Осада человека. С. 44.
- 46 Там же. С. 106–107.
- 47 Там же. С. 116.
- 48 *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 129, 117, 116.
- 49 Там же. С. 119, 132, 135.
- 50 Там же. С. 118, 124, 126.
- 51 Там же. С. 166.
- 52 Там же. С. 67.
- 53 Цельность. О творчестве Л. Я. Гинзбург. // Литературное обозрение. 1989. № 10. С. 82.
- 54 *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. С. 67.
- 55 Воспоминания о Тынянове. Портрет и встречи. М., 1983. С. 151.
- 56 *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. С. 118.
- 57 Там же. С. 266.
- 58 Там же. С. 253.
- 59 Там же. С. 117.
- 60 Там же. С. 123, 135.
- 61 Там же. С. 132.
- 62 Там же. С. 151–152.
- 63 Там же. С. 215–216, 273.
- 64 Там же. 346.
- 65 *Тынянов Ю.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 587.
- 66 *Гинзбург Л.* Записные книжки: Новое собрание. М., 1999. С. 399.
- 67 Там же. С. 173.
- 68 Там же. С. 331.
- 69 *Кушнер А.* Аполлон в снегу. Заметки на полях. Л., 1991. С. 365–367.
- 70 Цельность. О творчестве Л. Гинзбург. С. 81.
- 71 *Гинзбург Л. Я.* Человек за письменным столом. С. 527.
- 72 *Гинзбург Л.* Записные книжки: Новое собрание. М., 1999. С. 327.
- 73 *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом. С. 223.
- 74 *Гинзбург Л.* Претворение опыта. Л.-Рига, 1991. С. 52.
- 75 Там же. С. 180, 287–288.